

П Р О З А

Е. Кушнер

И В А Н О В

Григорий Тарасович возвращался с работы. Темно уж было на улице. И непривычно зябко. Он ехал в трамвае, сидя у окна, прислонившись головой к стеклу, и подремывал. И тряска ему совсем не мешала. Наоборот, даже успокаивала немножко. Да и привык он к ней, как к чему-то обязательному в своей жизни. Еще с малого детства он начал трястись... и до сих пор не перестал. Всю жизнь трясся. То от вагонных толчков, или ухабов и ям на дороге, когда мчался на своем грузовике, заполненном углем; то от холода, то от страха. И вот теперь... Дребезжат стекла, а он едет в трамвае, прислонившись к оконной раме, и от усталости не может открыть глаза и не думает ни о чем. А о чем ему думать? Что завтра утром надо не забыть купить хлеба полбуханки? Так это он и так помнит. И нечего тут думать. Да и вообще... думать нечего. Жить надо. А потом умирать. Жить и умирать. Жить и умирать. Жить и умирать...

Он вышел на своей остановке и направился к дому. Дом крупноблочный. Годов шестидесятих. Частенько зимой отключают горячую воду. И топить перестают. И холодно бывает — просто жуть. Видимо, у них там в жэке чего-то не того... Ну, тож дело объяснимое. Работа. Оно не всегда выходит...эта... чтоб тепло было. А так ничего. Жить можно. Токо б хуже не было.

Тарасыч вошел в квартиру. Ни Васьки, ни Таньки не было. Видать, на футбол пошли; или еще куда... Он поел картошки с хлебом, попил чайку и пошел к себе в комнату. Там телевизор включил. Посмотрел передачу. Затем опять на кухню. Выпил еще полчашки чаю /несладкого, сахара в доме не оказалось/ и вернулся в комнату. От обоев несло чем-то... Керосином, кажись. И откуда, это самое, керосин-то взялся? Ну, да Бог с ним! Все равно неохота проветривать. Он разделся и лег в кровать. Вскоре задремал. А где-то часа через полтора, когда Васька Петрухин с женой Таней вернулся домой, по всей квартире разносился оглушительный, причмокивающий

храп Григория Тарасныча, похожий на непрерывное злобное бормотание. Спал он крепко. Но всю ночь снилась жена. Одета в легкое розовое платье с короткими рукавами. Жена ничего не говорила и не делала. Просто стояла и смотрела на него, а он вроде, как лежал на сеновале, подперев голову рукой, и улыбался. Эх, Лена /так он называл Елену Андревну/ ... эх, ма... Э-хе-хе!...

Весь следующий день Тарасныч был, точно сам не свой. Когда вел грузовик с песком и кирпичом, вокруг все мелькало с какой-то особенной скоростью, руки хотели, но все никак не могли плотно схватить баранку /тряслись потому что/, а в ушах стоял непрерывный гул. Такое состояние бывает разве что с похмелья. Но ведь он-то не пил вчера... С ребятами /друзьями своими/ он почти не разговаривал. Так только: да или нет — и все. Они даже удивились. "С чего это, — говорят, — Тарасныч наш такой смурной сегодня? Уж не заболел ли, ядрена вошь?"

Но Тарасныч не заболел. Просто в этот день ровно пять лет назад в десять часов вечера умерла его жена. И вот уже пять лет он аккуратно и обязательно устраивает поминки по такому случаю. А теперь... Что "теперь"? Теперь уж и ему скоро помирать /это он точно знает/, и поминки поэтому должны быть подходящие или это... как там?...со...соответствующие, во! Все ж последние как никак. Хотя оно верно. Перед смертью не надышишься. Ну, да Бог с ним, все к лучшему. Вот такие пироги.

Ему даже старшой ихний сделал замечание. Не замечание, а так просто. "Какой-то ты, — говорит, — Тарасныч, как все равно в воду опущенный. Не дело, — говорит, — эдак." "А чего мне веселиться, — отвечает на то Тарасныч, — веселиться мне не с чего. Веду себе грузовик — и ладно. А там уж смотрите, ежели чего не так".

Дома он был в восьмом часу. По дороге прихватил полбанки в лабазе при торговом центре. А закуска никакой и не надо. На что она — закуска? Он и без нее неплохо посидит. Васька тоже к тому времени с работы вернулся. Он с утра разругался с женой, и теперь не разговаривал с ней ни в какую. Сидел на кухне и пил себе бормотушку. С Лехой — водопроводчиком из Девятого жэка. Тарасныч поздоровался с ними и прошел в

свою комнату. Водку поставил за окно. Сам снял свитер и замыванные бензином и пылью широкие серые брюки и надел тренировочный костюм. Потом достал из холодильника хлеб с маслом и сел за стол. И задумался. Просидел минут пять, встал, встрепенулся; подойдя к окну, достал водку /уже охладилась немного/ и снова сел за стол. Взглянул на часы. Пол восьмого. Два с половиной еще. Опять он зачем-то посмотрел на часы. Затем открыл бутылку и налил треть стакана. Выпил.

Ну, ничего... Пускай погуляет. Потешится. Когда ж еще-то гулять, как не в молодости? Побесится, попьет как следует. Поработает. Это все на пользу. Так оно и должно быть. А там подрастет еще, поумнеет, глядишь... И будет уже две поминки справлять. Ничего, пуцай побегаёт. Все равно... Не должно оно так, чтоб родного отца с матерью забыть. Парень-то уж больно ладный. И душа добрая. Потому в родителей пошел. Душой-то. А, если чего не так, так и это... ну, как это? Думает же небось про матку. Все время думает. Да и зайти, конечно, хочет, только никак ему. Занят своими делами, вот и некогда. Да это и не страшно. Все ж молодые когда-то были, погуляли в свое время.

Тарасыч размял папиросу и закурил. Он видел, как в темном окне отражалось его грубое, морщинистое лицо. Он усмехнулся одними губами. Значит, пять лет прошло. Пять лет... А как когда..., иногда кажется, что уж много-много время прошло, а иногда нет. Вот как сейчас. Вроде только что здесь сидела и бранилась за пьянку. А потом вдруг улыбаться начала и глядеть ласково... А на самом деле пять лет — это не много и не мало. Пять лет — это пять лет.

Он отрезал кусок хлеба, налил полстакана и опрокинул одним глотком. И глубоко затанулся. Да, вот оно как получается... Не приходит? — и, видать, правильно делает. Не заслужил, значит, отец, чтоб к нему эта... приходил-то... А по-другому поглядеть, — так и обидно немножко. Сын же родной, не кто-нибудь... Ну, да Бог с ним. Грех обижаться. За Лену только шибко обидно. Типа того, что вроде, как забыл или просто не захотел. Вот оно как выходит. А как у его и того... Прямо аж так и вот. Ну, и, понятно, дело всяко. И оно конечно. Не хухры-мухры. Не Манькины песни.

Тарасыч затанулся еще глубже. И выпустил дым вверх, на

тусклую лампочку без абажура, напоминающую маленького, чаклого цыпленка, подвешенного головой вниз. На кухне сосед с Ленкой уже шуметь начали. Тарасич слышал, как один говорил другому пьяным надтреснутым голосом:

— Я чего говорю-то... Слышь, бля? Я чего хочу сказать-то... Ты послушай. Я не буду! Понял? Поях, нет?

А тот отвечал:

— Ну! Уебу, блядь! Замочу я... Баба — она и есть говно! С...с...сука!

Усмехнулся Тарасич. Ну, и дела. Васька — он мужик хороший. Только вот, как выпьет — сразу бузить начинает. И то, видите, не по нем, и это. Но так понапрасну никого не обидит /если, конечно, трезвый/. Не таков он. А бухнуть может. И, если кому морду оформить, — так это запросто. Это точно.

Он плеснул еще полстакана. Водка по цвету, как вода в пруду в ясную погоду. Ей Богу! Прямо, ну совсем-похоже.

Он поднял стакан и посмотрел сквозь него на свет. Да, Леночка. Оставица ты старика одного. Как эти пять лет прошли — один Господь ведает. А Тарасичу — словно и не было их. Словно она вчера вечером умерла, словно он и из комнаты не выходил. Да, не дело это: человека одного оставлять. Не хорошо. Ну, да хрен с ним. Все скоро образуется. Не долго маяться осталось. За тебя, Леночка! Не серчай, если я чего не того... скоро уж, дай Бог, свидимся! Он поднес стакан ко рту. Поморщился, пощмокал шершавыми, потрескавшимися губами и выпил.

Не пошло. Ударило в нос. Он поперхнулся, а водка как будто остановилась где-то между грудью и животом, не желая опускаться дальше. Но потом ничего. Улеглось, успокоилось. И хорошо стало. Тепло. И вроде как даже сладко. Тарасич вздохнул глубоко, взял недокуренную папиросу. На улице ветер шумел, и ветки деревьев стучали в окно. Он посмотрел в окно.

На кухне тем временем Васька успокоился. И что-то говорил тихо, почти шепотом, и здесь было только слышно, как стулья скрипели под запылявшимися мужицкими телами. Тарасич отвернулся от окна, затащил последний раз и потушил папиросу.

Какой у него все-таки сынок! Вовка. Ну, прям парень такой, растакой. Молодчина! И красавец отличный. И в плечах отца здоровее раза в два. А что не приходит, так, стало быть, правильно делает. Значит, нечего. Значит, плохой он, Тараснч, отец, и нельзя к нему Вовке ходить. Да и зачем ходить-то? Не...е..., все здорово, все в норме. Поделом ему, Тараснчу, за это...ну.. Нет, ладно. Никчему это, чтобы Вовка пришел. Чего ему отец скажет? Ничего хорошего. Ничему стоящему не научит. Лену вот только жаль. До слез жаль... А и то дело, чего жалеть? Лежит себе спокойненько на Охтенском, лежит и отдыхает. Шибко она потрудилась за свою жизнь. И с ним, и с Вовкой /пока рос/ потрудилась. Теперь, ясно, и отдохнуть не мешает. Отдохнуть — оно всегда неплохо. Вот так вот. А теперь что? Как же теперь не пить-то? Выпить можно. Даже нельзя не выпить. Некрасиво это получится. Некультурно. Тараснч уж пять лет, как это самое... Ну... Запил, короче говоря, с тех пор, как жена померла. А если правду сказать, так и раньше пил, просто не так сильно. На евоной базе все шофера пили. И старые, и молодые, и всякие. Даже за руль бывало садились поддавши. Если, конечно, инспекция за жопу не брала. Хотя чего брать? Можно подумать, инспекция сама не пьет. Ха! Еще чего! Ни один нормальный гаишник трезвый не бывает. Смешно прямо. Хуячит за милую душу, так что чего там?!

Тараснч посмотрел на свои руки. Какие широкие. И кажется, будто специально для баранки и созданы. Да так оно и есть, а то для чего ж еще? Он уже запынял слегка. В бутылке осталось чуть меньше половины.

Если бы можно было вернуть то время... Неизвестно, может, было бы и чего по-другому... тогда, еще тридцать лет назад. Хотя наврядли. Все было бы также. И потом он вовсе не считает, что прожил жизнь понапрасну, впустую или как там это говорится? Ничего не впустую. Прожил так, как и должно простому русскому человеку. Сыночка вот воспитал, жену — похоронил. Чего еще?... Словом, все, как у всех, все нормально, и Бог знает, может..., он даже счастлив? А чего? Может это и есть это, как его? Счастье-то. Вот он сидит у себя в комнате, кушает водочку, думает о жене, которую он любил от

начала и до конца /а уж как блядовал с кем, так тут же перед Ленкой и каялся, и она его прощала всегда/. А теперь жизнь прожита. И он пытается вспомнить прошлое, но тщетно. Кроме лица Елены Андревны ничего не может вспомнить... Да и точно. Ничего у него в жизни и не было, не считая хорошей жены, сына, старого, заезженного самосвала и непрерывной пьянки, продолжавшейся уже больше сорока лет. В этом и состояла его жизнь. И сейчас, сидя в своей прокуренной комнате, положив черные шершавые руки на стол, прямо перед собой, глядя в окно, он вспоминает ее, вспоминает, — и ни о чем не жалеет. Ему пятьдесят шесть. Вроде еще не много, но он чувствует, что жить ему больше незначит. Он думает об этом спокойно, почти лениво. И ощущает в своей душе полное, долгожданное умиротворение. Нечего ему ждать от жизни, а, значит — пора помирать, помирать...

Тарасич откинулся на спинку стула и закурил. Лучше всего из своей жизни он помнит сорок девятый год. Ему тогда двадцать три было. И в этот год они поженились с Аленкой. Ох, было время! А Вовка появился через четыре года. Здоровый парень рос, крепкий. Болея только корью один раз, а так все детство пробегал по двору, пацанов распугивал. В школе, помнится, хулиганил, педагогов еще жаловались. Эх, мальчишка! Прямо Сорви Голова. Тарасич улыбнулся. Где-то он сейчас?... Володька... Только бы не приходил. Ни к чему это. Не надо. Зачем ему расстраиваться лишней раз? И так Тарасич перед ним виноват за то, что... за то, что. Ну, в общем, виноват — и все тут. Во всяком случае, вину он свою чувствует, а уж за что, — и не так важно. Отец всегда перед сыном в чем-нибудь виноват. Тарасич поморщился и потрогал указательным пальцем лоб. Затем встал, подошел к окну и приоткрыл форточку. И снова сел за стол. Струя свежего воздуха обхватила ноги, и он почувствовал, как ходок ползет все выше и выше по его телу и останавливается где-то около горла. И Тарасич почему-то вспомнил, как много лет назад они с Леной плыли в маленькой лодке по деревенской реке /это было у родителей Елены Андревны/. Вечерело. И холодно становилось. А вокруг темные еловые леса — и тихо-тихо. Кроме плеска от взмахов весел ни одного звука... А потом он, наверное, сделал какое-

то не такое движение, потому что лодочка вдруг сильно накренилась на один бок, да тут же и опрокинулась, и они оказались в воде. И когда с горем пополам вылезли на берег, то долго еще не могли прийти в себя от дрожи, холода и хохота... и счастья...

И теперь Тарасыч вспомнил об этом дне, как об одном из самых лучших в своей жизни. Только.. когда же это было? Лет десять назад... или пятнадцать? А, может, этого и вовсе не было?.. Приснилось как-нибудь ночью и все.... Где у него доказательства, кроме дырявой, насквозь пропитанной портвейном и пивом, памяти, на которую и надеяться толком нельзя?

Уличные шум, доходящие сюда через форточку, остались совсем далеко. Тарасыч сидел, уставившись прозрачными голубыми глазами с полопавшимися сосудами на белках в одну точку. Спина его была согнута, а кисти рук скреплены между расставленными ногами. Он не думал ни о чем. Он видел перед собой только сплошную серую пелену с маленькими пузырьками посередине. Он просидел так минут десять. А затем встрепенулся, вскинул голову, распрямил спину и расправил плечи. На кухне Васька Петрухин снова начал буянить. Он кричал что-то своему другу осипшим голосом, топал ногами, и изредка было слышно, как об стену или об пол с грохотом разбивается очередная тарелка. А в соседней комнате раздавался рев Татьяны. Она лежала на кровати, уткнув распухшее от слез лицо в подушку, и вздрагивала всем телом и причитала. Эти ссоры бывали довольно часто. Это все из-за пьянки. Ерунда. Раньше в таких случаях Тарасыч направлялся к ней в комнату, садился на кровать, гладил по голове и утешал, объясняя, что Васька — мужик совсем неплохой, даже наоборот: совсем хороший, а что выпить любит — так то и понятно. Кто ж не любит? И вообще, что все это глупости и потому обойдется как-нибудь. И Татьяна успокаивалась и переставала плакать. Но сейчас... нет, сейчас он не пойдет в их комнату. Сейчас он занят другим, и это другое слишком важно для него. Тарасыч закрыл форточку. Сел за стол и налил грамм сто пятьдесят. Ну, с Богом! На этот раз он не стал нюхать. Резким движением опрокинул стакан. Отлично вошло! Водка слегка обожгла язык и горло, и от этого стало невыразимо приятно, и жутко

захотелось курить. Тарасыч зажег папиросу. Да, вот такие дела. Такая жисть, ядрена вошь! А чего делать? Ничего не поделаешь. А раз так — ну и ладно! Ну его к лешему! Все, что ни есть — оно и хорошо. Привычно, чтоб только, а так у его не всяко...это...я...й... Не потому, что эта. Главное, чтоб все, как его? Ну... А ... его знает, может, и правда. Если там чего невзначай... Типа того, что нельзя ж так и не прийти. Ну, пусть поздно. Пусть выпивши, пусть еще черт знает, чего... но нельзя же так. Мать же все-таки, елки зеленые! Не кто-нибудь...

Да, не...е... Придет. Обязательно придет. Как не прийти? Да уж и едет наверняка. В дороге то есть. А то и прямо сейчас войдет. Позвонит так долго-долго. Протяжно. Откроешь дверь, а он стоит на лестнице и смотрит... Прямо так и смотрит в лицо. И видно, что жалеет отца. Не может Вовка не прийти, не такой он, чтоб это... не прийти. Вот увидите! Еще пару минут — и порядок. Явится, как миленький. И еще скажет: "Дескать, извини, батя, что я это, вроде, как опоздал". А какое там сердиться?! За что, спрашивается, сердиться? Пришел — и ладно. Хотя б на минутку, что ли?... Просто это... ну... как взглянуть, например. Скажем, что папанька поделывает. А папанька, между прочим, ничего не поделывает. Акромя того, конечно, что водочку принимает и об Алёнушке думает. А чего ему еще делать, папаньке-то? Нельзя ему больше ничего делать, обязан он поминки чинно справить, чтоб культурно там и прочее. И чтоб все тип-топ. А как же иначе? А что в одиночестве — так, ну что ж с этим поделать? Делать нечего. Вот и в одиночестве.

Тарасыч взял бутылку. Рука тряслась, а перед глазами уже начинало все расплываться. Ну, что ж, еще на один раз. Полстаканчика. Он налил, а пустую бутылку поставил на пол за диван. Ну, все. Напоследок. За тебя, Деночка! Не сердчай там, это самое... Как там? Ну, в общем, ладно. Тарасыч засадил последние полстакана. Взял кусок хлеба, занюхал. Но есть не стал. Положил обратно на стол. Не надо ему закусывать. Невозможно ему теперь закусывать, когда туй...е... Ну, ..ебтвою мать... Не потому, что он как бы не того... там это не стало, ну... Тарасыч покачал головой. Спина его опять была сог-

нута, а руки расслаблены и болтались беспомощно, точно сделаны были не из крепких мускулов и костей, а из кусков теплого пластилина. Словом, запынял он. И даже сам не заметил, как; будто в одну секунду. Хотя чего ж тут дурного? Запынял — стало быть, и запынял. Выжав бутылку-водки, как не запынать? Он взглянул на часы. Стрелки прыгают перед глазами, расплываются и, кажись, никак не могут занять устойчивое положение. То ли десять, то ли два... Непонятно. Тарасич поднес часы почти вплотную к глазам. Все равно непонятно. Он попытался правой рукой растегнуть ремешок — бесполезно. Пальцы не слушались. Он в бессилии опустил руки на колени. Еще немножко — он бы задремал, но вдруг встрепенулся, вскинул голову, поводил глазами по комнате, словно искал кого-то, икнул и тупо уставился на дверь.

Да что это такое, мать твою ити! Неужто и вправду? Неужто он и точно осмелится не явиться?! Совести — кот наплакал. Растил, любил — и вот воспитал... На тебе! Мерзавец! Сволочь! Дерьмо! Говно бессердечное! Паразит! Чтоб тебе пусто было, мразь! Иуда! Родные отец и мать!.. Будь ты проклят! Как только людям в глаза после этого можно смотреть? Чтоб ты сгинул, тварь паршивая, мерзость проклятая! Если увижу где-нибудь — тут же, тут же! Вот этими вот руками! Задую!.. Все для него было сделано... Негодник! Антихрист! Глаза, волосы повывергиваю! Ни одного живого места не оставлю!.. Вот этими же руками!.. Убью!.. Убью!.. Мы с Ленушкой для него все!.. А он.. паскуда! Гниль болотная! Выродок! Ой, бля!.. Убью!.. Убью!.. С...сука!

Тарасич сам не заметил, как оказался на середине комнаты. Он уже не думал, не шептал и даже не говорил. Он кричал, орал во всю глотку. Вопил, что есть мочи. Из последних сил. Голос его сотрясал не только стены квартиры, но, наверное, и весь дом. А руки /возможно, даже помимо его собственной воли/ вытворяли что-то неопишваемое. Пустая бутылка полетела в экран телевизора, табуреткой было разбито окно, тарелка с хлебом вдребезги разлетелась от удара о стену, депельница опрокинута на пол. А когда в комнату вбежали соседи, Тарасич лежал на полу. Его неуклюжее, громоздкое тело сотрясало, билось в истерике. Ноги колошматили об пол, как па-

лочки военного барабанщика в боевом марше, — изо рта шла пена, глаза были закрыты, точно у мертвого, а лицо вдруг побледнело и на щеках почему-то проступили продолговатые синие пятна. Он никого не замечал, ничего не слышал, и любые попытки привести его в чувства были совершенно бессмысленны. Неотложка приехала минут через сорок. А умер Тарасч уже под утро, часов в пять, так и не открыв глаза, не придя в сознание. А в больнице в это время все спали.

.....
//////////